

С. С. Скорвид (Москва)

**СЕРБОЛУЖИЦКИЙ (СЕРБОЛУЖИЦКИЕ) И РУСИНСКИЙ (РУСИНСКИЕ)
ЯЗЫКИ: К ПРОБЛЕМАТИКЕ ИХ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
И СИНХРОННОЙ ОБЩНОСТИ**

0. Серболужицкий или серболужицкие, верхне- и нижнелужицкий, языки в отечественной славистике принято рассматривать среди основных славянских языков (см., напр., очерк К. К. Трофимовича в издании «Славянские языки», М., 1977). Между тем как в плане современного функционирования, так и в сравнительно-историческом аспекте представляется вполне очевидной типологическая соотносительность этого языка или этих языков с русинским (русинскими), который (кото-

рые) в России либо вообще обходят вниманием¹⁸, либо данный феномен получает освещение лишь в рамках так называемых славянских литературных микроязыков в терминологии А. Д. Дуличенко (Славянские литературные микроязыки. Таллин, 1981). В нижеследующем сообщении мы остановимся на проблематике современной серболужицкой и русинской языковой общности с учетом сравнительно-исторической характеристики соответствующих идиомов.

1. Проблема серболужицкого языкового двуединства решается в наши дни двояко. Х. Фаска в «Грамматике современного серболужицкого языка» (Бауцен, 1981) и других публикациях утверждает, что существует единый серболужицкий языковой континуум, представленный рядом диалектов (не только собственно верхне- и нижнелужицких, но и переходных) и двумя исторически сформировавшимися литературными языками: верхне- и нижнелужицким. Напротив, Х. Шустер-Шевц в ряде работ отстаивает точку зрения, согласно которой, верхне- и нижнелужицкий идиомы изначально, со времен существования племенных диалектов, представляли собой два отдельных языка, каковыми они – в том числе в их современных литературных формах – остаются и поныне. Сравнительно-исторические аргументы Х. Шустера-Шевца сводятся к указанию на некоторые более или менее древние языковые расхождения между верхне- и нижнелужицким ареалами, в особенности на сохранение взрывного **g** в нижнелужицком и его изменение во фрикативный **h** в верхнелужицком, ср. н.-л. *góra* – в.-л. *hora* ‘гора’, и специфические рефлексы ***ɟ** типа в.-л. *mjaso*, н.-л. *měso* ‘мясо’ (каковые черты, впрочем, для многих других славянских языков вполне обычно трактуются как междиалектные, а не межъязыковые), а также на более поздние инновации в развитии звукового и грамматического строя обоих идиомов, которые, однако, по нашему убеждению, находятся всецело в русле единого развития данной языковой общности, причем зачастую не только серболужицкой, а – шире – западнославянской (ср., в частности, ассимиляцию смягченного **ɣ** в чешском и польском в любой позиции, тогда как в верхнелужицком она происходила только после глухих взрывных согласных, а в нижнелужицком в той же позиции затронула также твердый **ɣ**: чеш. *křídlo*, *tráva*; пол. *skrzydło*, *trawa*; в.-л. *křidło*, *trawa*; н.-л. *kśidło*, *tšawa* ‘крыло’, ‘трава’). Не исключая возможности того, что, если бы исторические обстоятельства сложились иначе, мы теперь имели бы два во всех отношениях самостоятельных серболужицких языка, полагаем, что историческая их конвергенция как в плане интерференции

¹⁸ Так, в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (М., 1990) о названном идиоме / названных идиомах нет даже упоминания.

диалектов (с образованием переходных диалектных зон), так и в плане литературно-языкового взаимодействия, вплоть до недавнего времени имевшего форму одностороннего влияния верхнелужицкого на нижнелужицкий, привела к становлению в современных условиях единой – «миноритарной» в ситуации немецкоязычного окружения обеих ныне территориально разделенных Лужиц – языковой общности.

Адекватную социолингвистическую трактовку функционирования рассматриваемых идиомов осложняет тот факт, что практически только в католическом районе Верхней Лужицы сейчас осуществляется естественная передача – поначалу на уровне диалекта (который обнаруживает целый ряд сходств с нижнелужицкими говорами, ср. 3 л. ед. ч. н. в. глагола 'быть': лит. в-л. *je*, н-л. *jo*, в-л. диал. катол. *jo*) – соответствующего идиома от старшего или среднего поколения младшему, включая детей дошкольного возраста. В то же время особенно в Нижней Лужице эта связь прервана: носители данных диалектов, теперь в возрасте свыше 60 лет, уже не передавали естественным способом родную речь даже нынешнему среднему поколению, которое ее изучало только в школе. На современном этапе проводится эксперимент по возрождению «естественного» функционирования нижнелужицкого языка, начиная с детских садов, однако работающие там воспитатели сами владеют лишь вторично выученным литературным языком. Подобная же ситуация наблюдается – за исключением католического района – и в Верхней Лужице.

В принципе проект возрождения языка на базе вторично выученной носителями литературной формы, при отсутствии диалектной опоры либо даже при наличии таковой, но с построением заново некоей иерархии субстандартных форм – парадоксальным образом на базе стандарта! – представляется небесперспективным (ср. развитие языка иврит в Израиле, где он, впрочем, является государственным). Финансовая поддержка Фонда серболужицкого народа может способствовать его успешной реализации, однако решающую роль в этом, несомненно, будут играть разнообразные (социо)лингвистические факторы. В самом неблагоприятном случае нижнелужицкий сохранится как более или менее искусственный литературный язык – при более или менее естественном сохранении верхнелужицкого, и не только в литературной форме, по крайней мере в католическом районе Верхней Лужицы.

При этом следует отметить, что среди нижнелужицких лингвистов, часть которых принадлежит еще к старшему поколению действительно естественных носителей данного языка, в том числе и в его диалектной форме, в настоящее время наблюдается тенденция литературно-языкового «сепаратизма», подкрепляемая заявлениями о том, что верхне- и нижнелужицкий языки соотносятся примерно как чешский и словацкий и т. п.

2. Русинский язык или русинские языки представляют собой совокупность весьма разнородных диалектных, наддиалектных и литературно-языковых образований (в терминологии А. Д. Дуличенко – литературных микроязыков), бытующих или бытовавших среди русинского этноса как на его исконных землях в Прикарпатье, находящихся в настоящее время на территории Западной Украины и Восточной Словакии, так и в районах компактного переселения русин на территории Воеводины в Сербии и отчасти Славонии в Хорватии, в Венгрии, в Румынии, в Польше (живущие ныне в западных польских областях лемки, причисляемые к русинам), а также в США и Канаде.

Карпато-русинские диалекты – восточнославянские, представляющие собой продолжение украинского диалектного континуума (его западной части). Разделяя многие общевосточнославянские, общеукраинские и западноукраинские особенности, они обнаруживают и специфические черты: 1) сохранение различия между давними гласными *у (ы) и *і (и), причем рефлекс последнего, как правило, не совпадает с і из *ѣ и другого происхождения (*кытіти* ‘кипеть’); 2) переход *о, *е в закрытых слогах, образовавшихся после падения редуцированных, в **u**, **ü** или **y** наряду с **i** (при различном распределении этих рефлексов по говорам и неполном совпадении позиций такого изменения с общеукраинским состоянием), ср. *вуз* // *вюз* // *віз* ‘воз’, прич. на -l м. р. *вюз* // *віз* ‘вез’; 3) частое сохранение аффрикаты **dž** из ***dj**, ср. *пряджа* ‘пряжа’; 4) стяжение гласных в презентных формах глаголов с давней основой на *-**aje-**, особенно в форме 3 л. ед. ч., сохраняющей при этом флексию **t’/t**, ср. *співать* ‘поет’ (укр. *співає*); 5) окончание **-me** в 1 л. мн. ч. наст. вр. глаголов, ср. *кажеме* ‘мы говорим’ и др. Многие из этих черт обязаны своим возникновением польско-восточнословацко-русинским (и, шире, западноукраинским) ареальным контактам. В наибольшей степени такие контакты сказались на лемковских диалектах, которые отличает ударение на предпоследнем слоге слова, а также, напр., переход твердого **l** в билабиальный **u** (в противоположность его замене «среднеевропейским» **l** в карпато-русинских говорах Восточной Словакии), окончание тв. п. ед. ч. имен и местоимений ж.р. **-om** из пол. **o** (вопреки обычному карпато-русинскому и западноукраинскому **-ou** < **-oju**) и др. Многочисленная в карпато-русинских диалектах ареальная лексика также часто выдает западнославянское происхождение, ср. */в/шытко* ‘всё’ (пол. *wszystko*, словац. *všetko*, вост.-словац. *šicko* // *šytko*), *еден* ‘один’ (пол. и словац. *jeden*), указательное местоимение ср.р. *тото*, ж.р. *тота...* ‘это, эта...’ (вост.-словац. *toto, tota...*), *лем* ‘только’ (вост.-словац. *l'em*) и т. д. Среди неславянских лексических элементов здесь особенно велика доля заимствований из венгерского языка, нередко распространенных во всем карпатском или еще более широком ареале, ср. *тазда* ‘хозяин’ (пол. диал., словац. *gazda*), *валал* ‘деревня’ (вост.-словац. *valal*) и др.

Русины, переселившиеся в районы Бачка и Срем на территории Воеводины и позднее в хорватскую Славонию, при сохранении некоторых карпато-русинских (восточнославянских) элементов перешли в целом на восточнословацкий диалект с регулярными западно- или юго-западнославянскими чертами, напр.: воев.-русин. *плетол*, *плетла* ‘плел, плела’, *шидло* ‘шило’, *квет* ‘цветок’, *конопа* ‘конопля’ (но *коноплянка* ‘конопляное поле’), *цудзи* ‘чужой’ (но *меджа* ‘межа’), *крава* ‘корова’ (но *город* ‘город’) – карпато-русин. *плів*, *плела*, *шыло* (при *шыдло*), *цвіт* (при *квітка*), *конопля*, *чуджій*, *корова* и др. Воеводинско-русинские говоры разделяют также специфические восточнословацкие особенности, как общие, так и локальные (характерные для шарышской и соседней абовской диалектных областей): в фонетике – закрепление ударения на предпоследнем слоге слова, сочетания **er**, **ar** (наряду с **or**), **lu** и **ol** (наряду с **ou**) на месте давних слоговых плавных сонантов, переход рефлекса старых долгих **ě*, *e* в *i* и **ę* в *a*, а старых кратких **ĕ*, *ę* в *e*, изменение **t'**, **d'** в **c**, **dz**, а также **s'**, **z'** в **š**, **ž** (ср. *тварди* ‘твердый’, *длуги* ‘долгий’, *вира*, *вериц* ‘вера, верить’, *вжац* ‘взять’, *дзешец* ‘десять’ и т. п.); в морфологии – унифицированные окончания косвенных падежей мн. ч. у существительных всех родов, окончание **-och** в мест. и род. п. мн. ч., устранение чередований в парадигме большинства существительных с основой на **-k**, **-h**, **-ch** (или их деморфонологизация, ср. *Руснак* ‘русин’ – им. п. мн. ч. *Руснаци*, род. п. мн. ч. *Руснацох...*), стирание различий между твердым и мягким вариантами склонения существительных, в том числе у существительных ж. р. за счет обобщения в дат. и мест. п. ед. ч. окончания мягкого типа **-i** (*на драги* ‘на дороге’, но устойчивое сочетание *на драже* < **-z'ě** ‘на улице’, окончание **-u** в тв. п. ед. ч. существительных ж. р. (*воду* ‘водой’, но наречие *долуводом* ‘вниз по реке’), формы прошедшего времени глаголов типа *читал сом* (при *я читал*), свойственные западной части восточнословацких диалектов, в отличие от более восточного словацкого типа *čital(a) mi* или карпато-русинского *читав ем*, *читалам* и др. В лексической системе воеводинско-русинских говоров наряду с восточнословацкой и остаточной карпато-русинской лексикой (включая ареальные венгерские заимствования) много сербизмов, ср. *брег* в значении ‘гора’, *модліц* ‘просить’ (серб. *молити*) и т. п.

Первым письменным языком русин Прикарпатья был, начиная с XVIII в., церковнославянский русского образца (с карпато-русинскими чертами). На этой базе в XIX в. сложился многовариантный, с разным соотношением церковнославянского, русского и местного элементов, литературный язык, за которым закрепилось название «язычие», употреблявшийся вплоть до 2-й мировой войны (в это время уже преимущественно среди русинских эмигрантов в США). С середины XIX в. часть русинской интеллигенции во главе с А. Духновичем начала внедрять

взамен «язычия» литературный русский язык, другие деятели позднее стали ориентироваться на формирующийся литературный украинский, третья же группа пыталась создать русинский литературный язык на народной основе. Все эти тенденции продолжали сталкиваться после 1919 г. среди русин в Чехословакии и Польше. По окончании 2-й мировой войны у них, как и в советском Закарпатье, был официально узаконен только украинский. В Воеводине благодаря кодификаторским усилиям Г. Костельника между тем уже в 1920-е гг. утвердился особый русинский литературный язык, получивший благоприятные условия для развития в послевоенной Югославии (особенно с 1970-х гг.). После 1989 г. активизировалось литературно-языковое строительство у русин в Словакии (журнал «Русин», газета «Народны новинки» и другие издания; «Правила русинского правописания» 1994 г., декларация о кодификации русинского литературного языка 1995 г.). Параллельные процессы протекают среди лемков в Польше (журнал «Бесіда», грамматика 1992 г.) и русин в Закарпатской области Украины (периодика, грамматика «Материнський язык» 1997 г.).

В настоящее время представители русин, особенно словацких, пытаются создать «общерусинский» литературный язык (как некогда деятель воеводинско-русинского возрождения Г. Костельник, которому, однако, его эпоха диктовала иные требования), в частности, путем публикации на страницах журнала «Русин» текстов на всех разновидностях русинского. При этом в перспективе ставится цель полной литературно-языковой унификации, каковая, на наш взгляд, едва ли возможна.

Таким образом, в среде двух сравниваемых славянских национальных меньшинств, этноязыковое положение которых обнаруживает заметное сходство, на современном этапе наблюдаются прямо противоположные литературно-языковые тенденции – что вообще было, есть и, видимо, будет характерно для языков так называемой «Малой Славии».